

СТАРОЕ ТАНГО

1

Днем Марк Захарович стал дома томиться. Ходит по квартире, углы считает, места себе не находит. Руки были всю жизнь к работе привязаны и теперь ноют от скуки. Летом дача тешит, а сейчас зима.

Дочь Раиса видит, как отец мается, хочет помочь, но ничего придумать не может и говорит:

— Ты б ведерко с мусором вынес...

— Утром выносил! — скучно отвечает Марк Захарович.

— А оно опять набралось, — настаивает Раиса. — Вон сколько всего перечистила, пока обед готовила.

Марк Захарович идет в прихожую, тянется к вешалке. Можно и еще раз сходить, все какая-то польза. На лестничной площадке встречается сосед Алексей Тимофеевич. Вместе когда-то работали на заводе. Тоже с ведерком.

— На работу? — шутит он. — Пойдем вместе.

Контейнеры для мусора стоят за углом, где оборудована специальная площадка. Но добраться до них непросто. Нынче мусор валят прямо под ноги.

— Вот народ! — возмущается Алексей Тимофеевич. — Себе же пакостят!

— А мы всегда так... — соглашается Марк Захарович.

Старики стоят огорченные.

— А посмотри, что выбрасывают-то? — не унимается Алексей Тимофеевич.

— Мы когда-то все это берегли, а они — на мусорку. — Вот, глянь, велосипед почти целый, только что колес нету. Не нужен никому! Теперь на машинах гоняют...

— Чего же им не гонять, разбогатели! — поддакивает Марк Захарович.

— «Новые» стали и живут по-новому, не как мы.

— Но не все! И с пустыми карманами людишек полно.

— Знамо дело!

Пробираются дальше. Тимофеевич вдруг наклоняется, что-то поднимает.

— Ты глянь, Марк, музыка валяется. Да бывало, кто такое имел, тот богатым был, — и протягивает Марку Захаровичу черную патефонную пластинку с красным кругом посередке.

— Вон их тут сколько! Тоже теперь никчемная вещь. Небось, патефонов не сохранилось. Теперь у всех магнитофоны орут...

Марк Захарович подносит пластинку к лицу, щурится, стараясь прочитать название, но безнадежно вздыхает:

— Не вижу без очков! Домой возьму: Раиса прочтет. А патефон у меня где-то в гараже лежит. С самой войны.

— Да ну? — поражается сосед. — Уцелел до сих пор?

— Да.

— Тогда возьми побольше, покрутишь от скуки.

— Нет, своих дома много.

— Вот я и говорю: мы-то вещам цену знаем, — подытоживает Алексей Тимофеевич.

Не поднимаясь на этаж, Марк Захарович идет в гараж. Пластинка шевельнула душу, задела старое. А то и правда, послушать, что ли, находку. На стеллаже, среди старых велосипедных покрышек, нащупывает оклеенный дерматином чемоданчик...

— Это что у тебя? — не поняла Раиса, когда он появился в прихожей. А разглядев, удивляется: — Ты чего это, папа, патефон притащил?

— А вот! — показывает Марк Захарович пластинку. — Нашел, хочу послушать.

Дочь делает насмешливое лицо.

Марк Захарович открывает патефон, трогает холодный металл хромированной трубки. Поворачивает головку, накручивает пружину и неуверенно кладет пластинку. Патефон сердито шипит, откашливается. Клавдия Шульженко где-то далеко, но незабытым голосом затягивает вслед за первыми аккордами:

Осень. Прозрачное утро.

Небо как будто в тумане.

Кажется вдруг перламутром

Солнце холодное, дальнее...

Марк Захарович не верит своим ушам. Пораженный, он ищет вдруг слабеющей рукой спинку стула, смотрит на черный диск пластинки. Невежливо! Танго «Не уходи!», то самое, то, которое... Непослушными ру-

ками он останавливает пластинку, крутит в руках, не веря, что она есть. Зовет дочь:

— Раиса!

Дочь показывается в дверях. Марк Захарович протягивает ей пластинку, шепчет обессиленными губами:

— Смотри, что я нашел! Это танго, наше старое танго. Ты помнишь? Ах, нет, ты была еще маленькой.

— Что с тобой, папа? — встревоженно спрашивает Раиса. — Ты такой взволнованный...

— Ничего, ничего, — слабо улыбается Марк Захарович. — Все в порядке...

И опускается на стул, не в силах побороть волнение. Вот так находка! Нежданно все нашлось и все вернулось. Что было давно, что пряталось за годами, что казалось забытым. Танго! Это опять ты...

2

Вечер. Тихий городской сад, запах лип, большие испуганные глаза Нины. Марк показал ей повестку. Она оцепенела и стоит неподвижно. Но вот на эстраде вновь заиграла музыка, и Нина просит Марка:

— Пойдем, потанцуем. Кажется, танго.

Они танцуют молча, слушая слова, страшным образом совпадающие с их настроением, со всем тем, что случилось и еще должно случиться:

Не уходи!
Тебя я умоляю,
Слова любви
Сто раз я повторю...

Нина прижимается к плечу Марка, плачет. Он растерянно обнимает ее, шепчет, давясь волнением:

— Не надо... Я вернусь, вот посмотришь...

Это был их последний вечер перед войной.

На другой день с утра Марк уже был на вокзале, а спустя час качался в переполненном вагоне. Через четыре дня он лежал в окопе, мок под дождем и, как и тысячи других солдат, не все понимал, что происходит, и сердцем еще был дома... Нина стояла перед глазами, заслоняя все, а в ушах звучала прекрасная мелодия их последнего танца. И эта тоска приходила не раз к нему и потом, на другом фронте, в других окопах, через много дней и ночей, после многих боев. Писем не было, почта где-то плутала, и с домом его связывали только воспоминания.

Но как часто бывает на войне, после бесконечных страданий и ужасов подвалило рядовому автоматчику Марку Огаркову счастье. Долговязый почтальон Сенька однажды неожиданно выкрикнул его фамилию и протянул конверт.

— Получай!

Марк читал письмо не отрываясь, дергал кадыком, рвал ворот гимнастерки. Писем было два, на одном листке — из дома, другое от Нины. Перед глазами стояла мать, кроткая и убитая горечью разлуки с единственным сыном, и она, Нина, с глазами, полными слез. И Марку показалось, что они где-то совсем рядом, он слышит их голос из строчек и чувствует их тепло. И у него самого стало теплее на душе, и война отошла на задний план... Но это было только полсчастья.

Спустя несколько дней после марш-броска в глухой белорусской деревне бойцы раздобыли патефон и всего лишь две заезженные пластинки. Марк уронил автомат и остолбенел, когда услышал знакомую и дорогую теперь мелодию старого танго... Каждый день он приставал к молодому солдату, тряся его за плечо, и просил:

— Браток, поставь еще.

И слушал, не мог наслушаться. Бойцы улыбались, терпели, понимая состояние Марка. У каждого на фронте на душе свое... Только молодой солдат, что веселил всех патефоном, видно, еще не был знаком с сердечной тоской и поэтою при расставании протянул пластинку:

— Возьми на память!

Эта пластинка прошла с Марком оставшиеся годы войны. Он всегда носил ее с собою, берег, как автомат, боялся потерять или разбить. Расстался с ней лишь однажды на очень короткое время.

Под Киевом в одном из боев автоматчики взвода, в котором служил Марк, были брошены на прорыв вражеской обороны. Солдаты залегли в неглубоком овражке, выжидая момент для атаки. Как только поднялись и пробежали несколько шагов, ахнул снаряд, и Марк, получив горячий удар в грудь, опрокинулся навзничь, отбросил сумку с запасными дисками и покотился в овраг...

Только на третий день он открыл глаза. Медсестра улыбнулась ему сквозь пелену, еще окутывающую его, и он услышал мягкий голос:

— Ну, вот и хорошо. Теперь будем поправляться...

Марк был в полузабытьи, то видел спины бегущих солдат, то лицо Нины, то речку под горой и старый мостик. Но вот через какое-то время яснее стали в памяти события последних дней, он вспомнил суровое лицо взводного, бой и слепящий удар спереди, автомат, стукнувшийся о мерзлую землю у самых ног, и вдруг застонал, пронзенный мыслью...

Сестра держала его горячую руку, шептала, склонившись к самому лицу:

— Тихо, тихо! Все хорошо.

Марк расцепил зубы, с трудом произнес:

— Сумка... Там пластинка...

Сумку ему принесли через две недели. Ребята нашли после боя, узнали номер госпиталя, передали с санитарной машиной. Пластинка оказалась невредимой, и Марк умолял сестру:

— Найди патефон, красивая! Послушаем танго.

Через несколько дней его знали в госпитале.

Но война еще шла долго, еще были бои, и воевал солдат Огарков. Его пластинка звучала под Брестом, в Польше, Чехословакии и даже в Берлине.

3

Марк Захарович сидит, ссутулившись, положил на колени крупные руки. Глаза чуть прикрыты, неподвижны. Раиса спрашивает его:

— Папа, ты не спишь? Ты о чем думаешь?

Он поворачивается к ней и просит:

— Посиди со мной, дочка. Посиди. Я вот мать вспомнил...

— Маму? А почему? Что с тобою, папа?

— Ничего. Просто вспомнил. А ты ее помнишь?

— Немножко. Только лицо...

Его губы трогает грустная улыбка:

— Она была красивой...

Он много-много раз говорил ей об этом. И говорил бы сейчас, если бы она могла слышать. Но их счастье, долгожданное и выстраданное, было совсем недолгим... Марк Захарович не знает, не может вспомнить, как пережил свое горе. Наверное, благодаря маленькой дочке. Он жил, сжавшись в комок, собрав солдатскую волю, бросив вызов судьбе, которая вскоре нанесла еще один удар. Мать умерла через четыре года после Нины. Раечке было только одиннадцать.

В жизни его остались лишь две радости: дочка и работа. Он пропадал на заводе целыми днями, не жалел себя, заваливал себя делами, думал о них едва ли не круглосуточно, не допуская грустных размышлений. Годы бежали, и все шло так, как должно идти. Выросла Раиса, появились в доме зять Владимир и внук Сережка. Первоклассный слесарь и бывший солдат Огарков, привезший домой полную грудь наград, стал пенсионером... Патефон с пластинками он спрятал от себя, схоронил подальше, боясь соблазна, понимая, как мало осталось сил... Но случай вот поступил по-своему и неожиданно всколыхнул боль в груди...

— Это танго? — спрашивает Раиса и берет в руки отцову находку.

— Да, — говорит Марк Захарович.

— Но танго это ушло. Это прошлое. Теперь другая музыка.

— Ты не права...

— Но ведь ты на мусорке нашел эту пластинку, ее выбросили, значит, я права, — не уступает Раиса. — И Володя прав. Он тоже на днях выбросил наши старые пластинки, что занимали антресоль. И патефон надо бы туда снести. Зачем он теперь?

Марк Захарович вздрагивает от этих слов, чуть бледнеет, ничего не говорит, только ниже склоняет свою седую голову.

ЖИВОЕ НЕБО

Раньше деда Якова никто не встает. Бледный рассвет едва разливадается по росному лугу, а он уже машет длинным гибким шестом с тряпкой на конце, свистит щербатым ртом, стараясь распугать своих за жиревших голубей и заставить их оторваться от ржавой крыши. Голуби спросонок разлетаются в разные стороны, садятся куда попало, а Яков костерит их на чем свет стоит... Но потом растерянные птицы все же взлетают выше крыши, сбиваются в стаи и медленно, кругами поднимаются в серое еще небо.

Яков запрокидывает лысую голову, щурит глаза, и лицо его расплывается в довольной улыбке. Так, с запрокинутой головой, стоит он посреди двора иногда весь день и ничего не видит вокруг себя, а только — небо над головой. Потому что нет для него милее занятия, чем «трухнуть» в небо пестрых голубей и смотреть, как они купаются в ласковой синеве. Поэтому никто на улице Яковом его не зовет, все называют по-уличному Трухачем. Прозвище это пристало к нему крепко, и он к этому привык, ни на кого не обижается, и на свое настоящее имя, если его произносят, почти не отзывается.

— Как у тебя шея до сих пор не скривилась?! — дивятся некоторые мужики.

— Другой, поди, давно бы скособочился...

— А она у меня сроду к такому положению приучена, — отшучива-

ется Трухач. И распрямляется на минуту, чтобы свернуть сигарку и подпалить ее.

Удивительная у него страсть. И не только к голубям, которых он держит всю жизнь, а ко всем птицам, что летают в небе. Даже когда голуби спокойно воркуют у себя в будке или кормятся зерном во дворе, он стоит с запрокинутой головой и жадно глядит в голубую бездну.

— И что ты все высматриваешь в пустом-то небе?! — ворчит Трухачева старуха Настасья Петровна, так и не привыкшая за полвека к причудам мужа.

— А... че тебе объяснять! — отмахивается дед. — Беспольное занятие. Несмысленное ты существо, снова ничего не поймешь...

Но один разок все же сделал попытку.

— Да разве ж небо бывает пустым? — спросил он Настасью Петровну. — В нем всегда живого полно, и потому оно живое... Ты присмотришься!

— Господь Бог один на небе! — ответила старуха и ушла. На этом разговор окончился.

Хорошо, что не все такие, как она. Имеются мужики понимающие. Иные сами не прочь иногда полюбоваться голубями и другой птицей, иные не хотят ранить душу земляка. Заслуженный он человек, старый солдат. Всю войну — под пулями. Не одно ранение имеет, а пришел-таки домой. Правда, вокруг он смотрит не так, как все, рассуждает по-своему. Так разве это плохо?!

— А какая ж в небе жизнь, если там один воздух? — спросил один раз Трухача для затравки сосед Иван Никифорович.

Трухач возмутился. Поставил голову в нормальное положение и с жаром возразил:

— Про птиц ты позабыл? Птица где живет, по-твоему, как не в небе?!

— На деревьях! — убежденно заключил Никифорович.

— Эх ты! — разочаровался Трухач. — Сам ты вырос на деревьях... Птице — небо дай, птица летает, а не прыгает...

— Ну, кто, к примеру, сейчас летает? — не отступал сосед.

Старик удивленно задрал седые брови.

— Как кто?! А ну давай присмотримся.

Он стал в привычную позу и замер. Но всего лишь на минуту. Тут же радостно показал кривым пальцем вверх и произнес:

— Видишь?! Ястреб-воробьятник из-под лесу выскочил. Вон, гляди, к садам подкрадывается. Знает, где промышлять. Ну а теперь в садах — переполох...

А тут внук Юрка дернул деда за рукав:

— Деда, а это кто? За нашим двором, низом пошли? — спросил он.

Трухач повернул голову, присмотрелся и довольно сказал:

— Так это щеглы. Целая стая! В репейники направились...

Иван Никифорович покачал головой:

— Ну и глаза у тебя, дед! Издали разобрал!

— Да щеглов ни с кем не спутаешь! — ответил польщенный Трухач. — У них свой полет, и по полету их от всякой другой птицы отличишь.

Вообще Трухач — интересный человек. Если его не перебивать и дать ему волю, он будет говорить о птицах весь день. Как они летают, где ночуют, чем питаются, какие имеют повадки. На птиц он никогда не охотился, только любит за ними наблюдать. Из-за этой любви необыкновенной и страстной он не раз попадал в разные истории.

— Пройди зимой Трухач пошел в лес, к ерикам, рыбки раздобыть.

— Птица нынче на деревьях распушилась от тепла — рыба душиТЬе будет! — сказал он своей Настасье Петровне. — Пойду, поохочусь.

— Ты под ноги смотри больше, рыболов! — пробурчала старуха. — Задерешь нос кверху да в полынью угодишь...

Накаркала, старая! Так ведь и вышло. Спасибо, вслед за Трухачем Иван Никифорович за валежником с санками пошел. До первого ерика не дошел — слышит, стонет кто-то и кричит за кустами. Раздвинул их, а там из-под снега одна дедова голова торчит.

— Эй! — кричит дед. — Кто там, подсоби!...

Никифорович вместо сушняка Трухача на санках привез. Отогрелся Трухач на печке и с азартом рассказал:

— Вижу, над головой шайка снегирей прошла! Погляжу-ка, думаю, где она усядется да чем пировать будет. Да... Иду, значит, глаз с нее не спускаю, уж совсем было дошел до тех кустов, где красногрудки расселись. Ан на тебе, в полынью наступил...

— Как ты об какую-нибудь березу лбом не треснул... — усмехнулась жена.

— Приведут эти птицы тебя когда-нибудь к гибели.

Трухач не обиделся:

— Нет! — возражал он на полном серьезе. — Напротив, птица — она меня в войну однажды от смерти спасла!

Все в округе знают эту историю с Трухачем, а я человек новый, и он рад был, что нашлось кому еще раз ее рассказать.

— В Белоруссии это случилось, — начал он. — Коротали мы ночь на переднем крае в окопах. Тишина была — передышка. Утром только заря занялась, высунулся я из окопа на небо посмотреть и в серой мгле, прямо над головой увидел лебедей. Невысоко, красиво шли. От войны, должно быть, уходили на дикие болота. В то же мгновение ударила немецкая артиллерия, обрушился шквал огня. Нырять назад, я заметил, как мгновенно распался строй птиц, а одна из них косо пошла вниз и упала на землю в нескольких метрах впереди окопа. Я еще раз выглянул и увидел, как лебедь в страхе и отчаянии беспомощно бьет одним крылом. Не помня себя, выскочил из окопа, пригнувшись, тремя прыжками добежал до бедняги, сгреб его руками и тут же вместе с ним полетел в неглубокую воронку от снаряда. Я лежал на спине, держа на груди трепыхавшуюся, окровавленную птицу. А снаряды рвались вокруг, и все смешалось с землей. Смерть витала над нами, искала нас и не смогла найти.

Трухач замолчал, переживая снова те минуты.

— И что же дальше? — спросил я нетерпеливо.

— Артобстрел окончился через несколько минут. Когда я вернулся к своему окопу, он был весь разворочен снарядами. Живых в нем не оказалось никого...

Старик дважды тяжело вздохнул.

— Лебедь, стало быть, спас мне жизнь...

— А сам-то он уцелел? — задал вопрос Юрка и глаза его горели.

Трухач пожал плечами.

— В деревне я его оставил у бабки одной, — сказал он. — Обещала выходить. У него крыло осколком было перебито...

После войны Яков много лет в кузне работал. Кузня на самом краю села. И сейчас он нет-нет да ходит туда. И внука с собой прихватывает. Бродят по подступающему к кузнице мелколесью, учит Юрку распознавать птиц. Юрка уже многое знает, но до деда ему еще далеко. Вот на днях трясет Трухача за руку, показывает на парящую высоко в синем небе стаю крупных птиц и кричит:

— Смотри, деда, вороны кружат!

— Грачи прилетели! — поправляет дед. — Поля сверху разглядывают, прошлогодние гнездовья ищут.

— А вон! А вон! — запрокидывает Юрка голову. — Твои лебеди прилетели с войны!..

— Это журавли. Вот теперь настоящая весна пришла.

СТАРИКИ

В морозной и светлой тишине над крышами стоит серый печной дым. Из труб растут колышущиеся столбы и словно подпирают небо, уже рассеченное косыми лучами утреннего солнца.

Иван Афанасьевич топчется на крыльце, курит сигарету и по-стариковски покряхтывает: кхе, кхе... Лицо у него сумрачное, взгляд тяжелый. Бросив окуроч, уходит в домашнее тепло, садится у печи, где трещат сухие дрова, и молчит. Но долго не засиживается, пяток-десяток минут и опять тянется за шапкой и снимает с гвоздя фуфайку...

Погода стоит нынче чудная, только б на подледный сейчас, только б окуньков таскать из лунок! Поди, теперь жируют, весну почувствовав. Ан, вот не получается, дома приходится отираться.

— Тоскуешь все? — допытывается жена.

— Не твое дело, — обрывает Иван Афанасьевич.

— Может, плохо тебе?

— Да уж чего хорошего?

Нина Петровна знает, в чем дело. Наверняка опять с Петром поссорились, на какой-нибудь ерунде не сошлись. Полвека живут через забор и полвека то и дело ссорятся. А ведь росли вместе, воевали на соседних фронтах, а после войны до самой пенсии работали на одном заводе. Дружья вроде, но дружба у них какая-то странная. То водой мужиков не разольешь: вместе везде — и на сенокос, и на рыбалку, и за дровами, и голубей гонять, и стопку осушить; а то неделями врозь. Характеры у них такие колючие. Любят поспорить, друг дружке наперекор слово сказать, свою правоту отстаивать, хотя зачастую эта правота каждым просто придумана. Примеров — куча!

Вот прошлой весной в половодье поплыли на старом Петровом баркасе через коренное русло реки в лес и заспорили дорогой: возьмет ли баркас буксиром шестиметровую осину, спиленную еще зимой, или нет? Ивану Афанасьевичу эта осина была нужна для ремонта сарая, и он уверял соседа:

— Дотянем! Сама на веревке пойдет, как миленькая!

А Петр Тимофеевич сомневался:

— Не совладаем! — ответил он. — На русле она потащит нас по течению — ничего не сделаешь...

— Струсил ты, брат! — заключил Иван Афанасьевич.

— Я струсил?! — возмутился Петр Тимофеевич и привстал с лавочки, качнув баркас. — Да я на фронте под пулями не робел, а тут какое-то бревно?! Давай зацепим, и узнаешь, кто прав.

Зацепили бревно, кое-как выгребли на середину, а дальше никак. Баркас закружило, тяжелая осина ударилась о гнилой борт, и он затрепал. Одно весло вылетело из уключины и упало в воду. Старики от страха присели на корточки, вцепились руками в борта и перестали спорить. Только молча смотрели на далекий берег.

Пристали они к нему кое-как километрах в четырех ниже, бросили там и баркас, и бревно и только к вечеру добрались до дома. Тут в их дружбе пауза и случилась. Иван Афанасьевич винил во всем Тимофеевича, а тот его.

А на рыбалке один раз такой конфуз приключился, что без смеха не расскажешь. Хорошая зоря выдалась, тихая и теплая, день обещал порадовать душу. Однако для Петра Тимофеевича он начался с неприятности. Спал плохо. А под утро живот взыграл так, что с туалетом не расстанешься... Иван Афанасьевич еще по темному постучал в калитку, а Тимофеевич скорбно отозвался из отхожего места:

— Погоди маленько... Не могу...

Потом кое-как собрался, однако дорогой раза два приостанавливался...

Посидели на берегу с часок, поглядывая на мертвые поплавки, покурили, о том о сем потолковали, и Петр Тимофеевич вдруг опять забеспокоился, застонал и побежал в канаву... А тут как раз у него поплавок задрожал, закивал головой и косо нырнул под воду.

Афанасьевич закричал:

— Тимофев! У тебя взяла!

— Тащи! — отозвался сосед. — Я не поспею.

Иван Афанасьевич схватил удочку друга, потащил на себя, а она не идет. Кто-то в глубине дергал леску, тянул в сторону. Потом вдруг на поверхности блеснул серебристый жирный бок, вспыхнул красным плавник, но в тот же миг рыбина сделала пируэт и опять потянула ко дну.

— Тимофев, иди же! — кричал Афанасьевич. — Не могу я один, язь, кажись, влетел...

— Ты его подсачком, подсачком бери! — отозвался сосед из канавы. — И не тяни сильно, а то сойдет...

Иван Афанасьевич держал удочку двумя руками, а ногой старался пододвинуть к себе подсак. Язь опять вышел наверх, кувыркнулся, и в тот же миг леска дзинькнула, ослабев, а рыбак потерял равновесие и упал навзничь.

— Ушел, зараза! — застонал Афанасьевич и выругался в сторону канавы. — Из-за тебя все, так твою мать! Приспичило его не вовремя!..

Петр Тимофеевич тоже негодовал:

— Чего медлил?! Я ж кричал тебе, подсачком бери! Растяпа ты!..

И пошло-понеслось, запылал костер. Кончилась рыбалка, домой порознь добирались и больше недели не разговаривали...

А то как-то прибежала испуганная соседка Мария Ивановна и о своем горе рассказала:

— Пчелы у меня под крыльцом завелись, — стонала она, — проходу не дают, клубятся, а одна вчерась в палец кусанула... Помогите, соседи, своего-то мужика у меня нету!

Петр Тимофеевич и Иван Афанасьевич пошли посмотреть. Бабке они пообещали, однако, твердо:

— Разберемся с этими насекомыми.

— Я с детства с ними имел дело, — сообщил Тимофеевич.

— Держал, что ли, али так, у кого видел? — спросила Мария Ивановна.

— Дед у меня в деревне держал...

Афанасьевич ухмыльнулся.

Пчелы вились возле крыльца, сотнями ныряли в трещину между карнизами завалинки, а навстречу им, толпясь, вылезали другие, и вокруг стоял веселый гул... Смелый Петр Тимофеевич Кудрявцев наклонился, заглянул в трещину, потрогал свои усы и уверенно сказал:

— Рой к тебе, Маруська, залетел. Под полом живет.

— А как его оттудова прогнать? — спросила она.

— Зачем прогонять, он тебе меду притащит, — сказал Кудрявцев.

— Не нужен мне мед! — отрезала Мария Ивановна. — Мне покой нужен, на крыльце когда посидеть. Прогоняйте их!

— Завалинку надо разобрать, — поразмыслив, сказал Иван Афанасьевич Плужников, глядя на соседа.

Хозяйка насторожилась.

— А делать кто потом будет? — с тревогой спросила она.

Мужики успокоили ее:

— Замажем все, как надо, ты магарыч готовь...

Вечером старики выковырнули шесть кирпичей, а на седьмом из развороченной дыры ударила тугая струя рассерженных пчел. Кудрявцеву усы облепили, а Плужникову — бороду. Покатились старики по траве, стояя и размахивая руками, а потом бегом, кто в огород, кто на улицу. В войну от немца так не бегали, а матерились на всю улицу. Большие недели на них нельзя было взглянуть без смеха, и ровно столько же они выясняли через забор, кто виноват в том, что приключилось. Мария Ивановна махнула на них рукой, пригласила с другого конца городка свата-пчеловода, тот и собрал всех пчел. А в завалине по сей день дыра зияет...

Но вот последняя стычка покруче вышла. Тихо-мирно шли старики на избирательный участок голосовать в день выборов за кандидатов в Госдуму. Решение у них было давно единое, не зря долгими часами кумекали о нынешней странной жизни, о новых порядках, законах и пенсиях. И вообще о том, что происходит вокруг.

— Это все демократы натворили, хорошую жизнь поуродовали, чтоб им... — убежденно рассуждали они. — Ничего, коммунисты это дело поправят...

Плужников был в этом твердо уверен, а Кудрявцев в последнее время сомневаться стал. В этот раз, по дороге, тоже покрутил головой и вдруг сказал, не глядя соседу в глаза:

— Ни черта они не сделают! Болтовня одна. Новая партия есть, сильнее.

Плужников опешил:

— Это ты о чем? — спросил он, сняв очки и изогнув брови.

— О том самом... — отмахнулся было Кудрявцев, желая замять разговор.

Сосед взял его за рукав и хмуро спросил:

— Ты что, переметнулся, старый пень?.. Навострился к умникам этим, которые все наше прошлое зачеркнули, все на свой лад вывернули? Отвечай мне!

— Никуда я не переметнулся, — отвел руку Петр Тимофеевич. — Но за нынешних коммунистов голосовать больше не буду.

Иван Афанасьевич зло посмотрел на него и так же зло выпалил:

— Перевертыш! А еще коммунистом себя называл. Партбилет носил!

— Я не в этой партии был, не в нынешней. Эта ведет совсем не туда, в другую сторону... — тихо ответил Петр Тимофеевич и зашагал быстрее...

Иван Афанасьевич до сих пор не может унять своего негодования. Тоска и обида разрывает грудь. Вот ведь как повернул сосед, вот как раскусил. Впрочем, нынче всяк по-своему размышляет, всяк как может ищет то, что потеряно. Тут беды нет, жаль, что в стороны разошлись, а ведь столько лет вместе. Слишком многое связывает, чтобы вот так, бац — и развязать. Поболтать надо бы по душам, авось разобрались бы.

Прозорливая Нина Петровна уловила настроение мужа, подошла к грустному старику, постояла немного и говорит тихо:

— Ты сходи к Петру, сходи. Заболел он, не встает...

— Что? — вскакивает с табуретки Плужников. — Как это заболел, что с ним?

— Так ведь сердце у него шалит, ты же знаешь.

Иван Афанасьевич растерянно и тревожно смотрит на жену, торопливо натягивает фуфайку.

— Заболел. Ишь ты, угораздило! — бормотал он себе под нос. — Тут весна пришла, а он заболел. Вот всегда так, не бережет себя, нервничает по пустякам, а у самого здоровье того...

— С кем не бывает... Оба хороши... — многозначительно отвечает Нина Петровна.

— Ну, я пошел! — сильно толкает плечом тяжелую дверь Плужников. — Я ему поболею! Вздумал тоже!..

Жена смотрит ему вслед и улыбается.

